

ВЕРТОГРАД ЛЮБВИ

/рассказ/

Только что из света и тепла и сразу оказалось: сырость, холодно и снег желтый, слякотный, в котором тонут и скользят ноги. Черные спешащие прохожие: улыбочки, гримаски. И над всем желтый пар и совсем нет белого, зимнего, синего... Хочется обратно, назад, в тепло, свет, к горячему чаю, и рюмке водки потому, что погода водочная, слякотная, мерзкая. И на душе от этого одна дрянь и пакость, пакость и дрянь.

Но Василий Трофимович преодолел возникшую было душевную слабость и довольно бодро засеменил по Лиговскому в известную ему сторону, несколько даже подпрыгивая и кося вбок, не то вправо, не то влево, хоть и был совсем трезвый и больше того, явно сердился, ибо что-то бормотал про себя, заметно нелестное, судя по голосу его и резким таким, но мелким движениям рук и укоризненному покачиванию головой. В общем прямо скажем неодобрительное было состояние у Василия Трофимовича, весьма неодобрительное и критическое.

Места, по которым перемещался Василий Трофимович, к тому же слабо одетый для такого сырого и темного вечера, места, значит, были паршивые и малознакомые. Душевности и приятности в таком месте и на копейку наскрести не удастся, сколько ни старайся. Дрянное безлюдное местечко, редко когда не битый фонарь попадался Василию Трофимовичу, да и тот не то что светил, дорогу освещал пешеходу, как положено, а скорее пугал, тени разводил вокруг, химеры, да фантазии одни. Сразу мерещиться начинали запоздалому путнику разные диковины. То какая-нибудь дьяволица в кепке, небритая, сбоку так аккуратно загля-

нет, то захихикает кто-то рядом совсем — руку протяни и поймашь, да у кого смелости хватит и рука у кого послушается, как она уже одервенела вся и словно мертвая болтается, то толпа вдруг тихонько так окружит тебя, навалится, подомнет, вот уж думаешь, конец пришел, на крик и то сил никаких, шипение одно в горле, да хрипы, а через мгновение очухаешься и сам диву даешься, идешь оказывается еще и все цело и все предметы на своем месте и из одежды, и из тела нужные части при тебе — все как одна.

ЗапозднилсЯ нынче Василий Трофимович, весьма запозднилсЯ. Приятели завлекли, все у них праздники, да празднички, карнавал какой-то, вечная масленица. Сколько уж знаком с ними Василий Трофимович, все у них то святки, то сочельник, то крестины какие-нибудь, вот сегодня рождество к примеру, а завтра наверняка именины произойдут. Об официальных празднествах, парадах и прочем, когда, можно сказать, вся страна гуляет, Василий Трофимович и не думал, потому там и ему даже было не грех повеселиться и рюмочку-другую или стаканчик, в зависимости от крепости и прозрачности напитка, пропустить. В такие дни и ему — горемыке и труженику — мало сказать дозволено было, а просто полагалось чего-нибудь такое сотворить, чего-нибудь такое.... ну, например, малознакомую даму на танец, а, может, во время музыки-то и звуков еще... подумать, знаете, необыкновенное.... ну ... понимаете... полететь что ли... в космос.... Ннн-да....

Но такёо разве что раз или два в году могло случиться, когда всенародность, когда каждый со всеми гуляет, тогда, конечно, понятно, что сердце ликует и отдается волшебной игре

фантазии. А так вот..., чтоб чуть не каждый день..., в пример сегодня..., тьфу... и Василий Трофимович плюнул.

Так вот он размышлял, проходя переулки и переулучки, минуя закрытые за поздним часом заведения разного рода и толка.

Дело в том, что все друзья Василия Трофимовича — еще школьные, давние — были художниками, людьми свободной профессии. Кто пером что царапал, кто кисточкой выводил разные фигуры с нагрудными знаками и орденами, да городские пейзажи, один танцевал по телевизору, другой пел по радио. И оказалось, что Василий Трофимович один из всех только и работал и каждый день ходил на службу в свое учреждение вот уже семнадцатый год. Чем он там занимался, было никому не известно и делал ли он вообще что-нибудь, об этом Василий Трофимович не распространялся и не любил, когда его об этом спрашивали. Василий Трофимович служил и только ему было известно, по какому ведомству он приносил доход, а может убыток — вот этого не знал даже он сам — государству и всей системе в целом.

"Ветка, бедня, заждалась меня. Может уснула уже. Да, неплохо вышло, сам утром обещал, что сразу и вот как получилось,— думал Василий Трофимович,— ох, уж эти мне "вольные каменщики" и надо же мне было связаться с ними. Ничего,— в конце концов решил он, — Ветка — умница, объясню ей, она поймет. И не то еще бывало. Ведь правда?"

Последние прохожие исчезли с улиц, завернув в свои подворотни и парадные. В последний раз до утра отгромыхали двери, шелкнули замки, навесились цепочки и вся жизнь, сколько ее ни было в этом городе, замерла и отяжелела в темноте, жидком тумане и сне. Зябко, моргая, взглядывался Василий Трофимович в

пустоту. Не было никакого трамвая или там машины. Одна местность осталась, запущенная, окраинная, примостилась в уголке города, и теперь один только Василий Трофимович был ее хозяином и смотрителем.

"Тут ходить-то недолго надо - и кепку возьмут и шинельку снимут", - мелькнуло в голове Василия Трофимовича.

"Слава богу, ни того, ни другого нет у меня. Давно уж гардероб личный, нательный, давно сменить собирался. В предчувствии такого случая, события, так сказать, и вот - не успел. А то неудобно получится, некрасиво перед человеком. Ведь не нищий же я какой, не безработный. Или к примеру под машину попадешь, а гардероб-то, рвань одна, ветошь. Стыда не оберешься. А женщина если врач, опять же", - вот такая ерунда лезла в голову Василия Трофимовича, нагло и без всякого стеснения.

И если в вертограде любви нарисовать непрерывно возрождающийся облик женщины и тут же голубь, кричащий над телом мертвого собрата где-нибудь в Житомире или на румынской границе, если там есть хотя бы один голубь, - и все это сквозь арку ворот в барочном стиле, зимним днем, после рождества.

"А что, когда причесывающегося мужчину побрить наголо, чего будет? Никакая расческа тут не поможет".

При подобной мысли Василий Трофимович даже остановился, ибо на мгновение усомнился в собственном душевном состоянии. В его голове часто возникали разные странности, совершенные с точки зрения рассудка диковины. Но откуда они появлялись, из какого источника и почему такая ерунда и даже часто не просто ерунда, вовсе не обыкновенная чепуха, а, можно сказать, что-то сомнительное, да к тому же с какой-то игривостью, подмигиванием

рождались подобные химеры в голове Василия Трофимовича, и, что особенно его возмущало, эти фантазии вели себя так, будто он-то лояльный и вовсе несомнительный человек — был соучастником всех этих глупостей и несуразиц, хотя Василий Трофимович — он мог просто поклясться в этом — никогда не навязывался к ним и не навязывал их и больше того: всегда убегал — в жизни даже своей — всего неорганизованного, не прилепившегося к целому, всего якобы свободного, всяких, как он их называл, высокомерных вольностей. Но вот голова его как-то иначе иногда устраивалась, без его ведома и согласия. И тогда там происходил вот такой кавардак, прямо какая-то гофманиада или еще точнее — штуки какие-то гоголевские в мозгу возникали.

Нет, Василий Трофимович не такой человек, чтоб позволить увлечь себя на неверный скользкий путь вымысла и игры. Он не художник, хотя он ничего и не имеет против свободных искусств, упаси боже, он не ретроград и не баптист, но в меру... Главное-то дело в другом, вот как он в газете прочел не так давно, мол, новый прилив революционной гордости и оптимизма и что наполняют они сердца всех людей планеты. Вот это Василий Трофимович понимает, это для него и сказано и так прекрасно: "С приближением... Великого... новый... оптимизма...", а дальше все про "живую связь"..., поколения..., "живую воду..." Удивительно, как умеют люди..., чтоб всем хорошо, чтоб одно чувство было, и не одиноко уже и как-то миловидно на душе и светло как в августе.

Да, — вышагивал свою мысль Василий Трофимович, — крупным человеком быть нелегко и мелким-то трудно. И если уж ты человек так себе, мелочь, то нет тебе пути одному и не пробуй лучше, не смей людей. Скорей хватайся за что-нибудь значительное,

все равно что, крупномасштабное, чтоб сила была, а если она тебя случайно раздавит, то и это не беда, мой друг, это-то и хорошо, в этом и блаженство, что пусть через гибель, но приобщиться, по поводу себя самого обеспамятеть. А крупные людишки пусть себе бунтуют, да скучают, да кулаками машут. А мы, — решительно так, бодро сказал себе Василий Трофимович, — работать будем и они еще — все эти артисты духа — попляшут у нас, попрыгают..."

Злобное мелкое существо был Василий Трофимович и что ж тут удивляться, что и мысли у него были мелкие, укусные мысли. Ни радости от них, ни света, ни печали высокой и торжественной, да же помощи никакой в жизни. Одно шипение, да чад... Но Василий Трофимович не просто злым был, озлобленным человеком, он с секретом был. Замкнутым Василий Трофимович был, герметичным. В собственном особом мире он жил, куда много дряни нанесло за тридцать семь лет его жизни, а как он замкнутым был, непроточным человеком, то вся дрянь и скапливалась, наслаивалась, да вот так и образовалось существо, что в третьем часу ночи семенило по Лиговке в известном ему направлении сквозь дрянную слякотную ночь.

"Ветка, бедная моя, забытая, одна, уж и ждать перестала, верно, а все я виноват, глупое животное, из-за кого бросил, покинул тебя. Но пойми, нет тут воли моей, злого умысла. Это все вот эти самые "вольные каменщики", болтуны сладкоязычные. А я, Ветка, дура моя, перед тобой чист. Ты думаешь, у меня есть здоровье ходить? Так я тебе точно, без утайки скажу, нет его у меня и быть не может. Ты ведь знаешь, я домосед. По мне была б такая возможность, так на улицу и вообще не вышел, си-

дел бы дома, разве что в окошко иногда посмотрел, поутру на туман или на молоковоз или просто первую поливалку, когда она из-за угла выезжает, еле ползет, сонная и окоченевшая, тут ее и прихватить, приметить глазом, да вот еще вечером на закате взглянуть, увидеть, как солнце село — значит дню как-то. И подумать, что хорошо, что и к лучшему. Вот так-то, Ветка, а митинговать: ни-ни, не смей и думать об этом. Раз уж такая карусель: что умрем, так чего горло драть. Эх, красавица моя, загляденье мое, совсем забыл, ты ведь меня не слышишь, а мне-то, дураку, кажется, что ты все слышишь, слышишь и запоминаешь".

Можно вернуться в то кривое утро с розовым кладбищем и медленным кортежем, с бульжной мостовой, холодившей ноги в тонких кожаных сандалиях, с только что сорванной зеленью и ошалелыми выкриками птицы, связанной за ноги и брошенной в корзину. Тусклый блес рыбьей чешуи, вкус теплой морщинистой кожи, и вялая солоноватость от слез на подбородке. Большая коричневая родинка на шее то опадает, то вздымается от редкого тяжелого дыхания. Волосы заплетены в две жидких косицы, уложены на затылке и связаны черной тесьмой. Белые влажные простыни комкают длинные пальцы с обкуренными ногтями... И все это давно и неизвестно где: и лицо старухи-сиделки..., склеротический голос нищего алкоголика, протягивающего руки к твоему лицу... И раннее августовское утро в Воронеже, когда все происшедшее вдруг показалось сном и исчезло, ~~растворившись~~ растворившись в глухой темноте пришедшей, по всей видимости, небывшей жизни. В, наконец, образ женщины — в первый и последний раз... на холсте и за ней другое лицо — мужчины. Двойной

портрет.

Давно уже не было вокруг Василия Трофимовича никакой мелкой дневной жизни, никакой суетливости, толкотни и всей этой дрянной спешки и активности. Бежала дорога перед ним, кувыркалась, кособочилась, лезла то вправо, то влево и назад возвращалась к одинокому пешеходу, вся слякотная, с желтым снегом и кусками сизого льда, примерзшего к асфальту. Темненькие, совсем узкие дворы проходил Василий Трофимович, торопясь домой, дворики, чуть не до карнизов домов заполненные ящиками, деревянными для винной и металлическими для молочной посуды. И ящики эти все тоже были какие-то кособочившиеся и уложены были как-то вкривь и вкось, того и гляди должны были упасть, рухнуть, и, конечно, могли ведь и задавить какого-нибудь инвалида или ротозея, а потом иди разбирайся, кто виноват, кто хозяин, ищи, дознавайся, а его и днем с огнем не сыщешь.

С утра в этих двориках, мощеных булыжником или покрытых изломанным, в трещинах и вмятинах, асфальтом, появлялись старухи, водянистого вида с многопудовой грудью и короткими оплывшими ногами, летом в стоптанных домашних туфлях, а зимой в галошах или ботах, напаянных на те же туфли. В кошелке, у которой ручка обязательно была перемотана проволокой, а иногда и просто в руках они несли несколько бутылок, найденных в каком-нибудь скверике под скамейками или в урнах железнодорожных вокзалов. Они добирались до дверей приемного пункта и рассаживались на ящиках, на которых они уже сидели вчера, а их такие же рваные и замусоленные, но более тощие, подвижные и ядовитые товарки уже были здесь, обычно с рюкзаками или спортивными сумками, найденными на помойке, но зато необъятных размеров, и доверху наполненными бутылками. И тощие вытаскивали папироски

и дымили, и сплевывали, не вынимая их изо рта, а водянистые многопудовые дамы с почти лысыми головами тяжело и страшно дышали, наполняя воздухом все пустоты своего огромного тела, и выплевывали его словно выпускали дым.

"Эх, Ветка, неужели не понять, неужели такая простая вещь не ясна, я ж не из эгоизма, я в жизни косисса, я ж соучаствую. Я не потому, что нравится. Я со страданием. Понимаешь?"

Пока Василий Трофимович так вот беседовал, взывал к неведомым друзьям и противникам, витийствовал, можно сказать, дом его замельтешил, вылез одним боком, затем другим проглянул и вдруг весь вывернулся и встал на пути Василия Трофимовича. Большой дом оказался, этажей на десять, а вокруг дрянь, запустение и пустырем отовсюду тянет. Так, кое-какой материал строительный железобетонный по местности разбросан, да и от него за давностью явно ничего не останется, разве яма в земле, дыра...

"Ну вот, слава богу, прибыли, можно сказать, домой, примчались,..." — пробормотал себе под нос Василий Трофимович.

И при этих словах странно как-то стало на душе его: и сладко, и радостно, что добрался, что живой-здоровый, весь как есть на месте, и больно, страшно чего-то, и сердце забилося вдруг криво весьма, набок как-то завалилось и отяжелело. Весь состав тела его изменился мгновением одним, окон он что ли темных испугался? Эка невидаль, будто он другого ожидал, ясное дело — темно, пусто и одна неустойчивость в местностях его души, а вокруг все вещи мира — тяжелые непроницаемые — осели, придавили землю и захотелось вдруг Василию Трофимовичу скандал учинить, чтоб обидели его, оскорбили и тогда он смог бы исполнить свое желание, повод был бы заплакать...

Ведь было, было, и у Василия Трофимовича было же, многое, разное, с приключениями и слезами, с беспамятством, и летел Василий Трофимович тогда вверх тормашками, кувырком... Трепетно жил он, сердцем и чувствами, нежнейшими склонностями питался ум его. И не мог он представить себе жизни иначе, как на волне восторга и трепета всего естества... Празднично жил Василий Трофимович, широко душа его была распахнута, всем там места хватало, не было никакой нужды тесниться и жаться, всему уголок был свой, всякой вещи, всякой живой душе объятия были готовы и приязнь. С каждым радостно было Василию Трофимовичу восприздать вечный свой светлый праздник.

Пир содружества человеческого и всеобщего братства.

Да, высоко замахнулся Василий Трофимович, высоко воспарил, думал человеком на все времена оказаться, но неряшество и неустройство, лоскутность жизни погубили его. Тут без женщины не обошлось, конечно, да не только в ней было дело, ибо женщина, будучи дивной материей, сладчайшим из плодов земли, не есть в полной мере существо разумное и соразмерное и не в состоянии нести ответственность или там ответ держать за свои поступки, ибо не ведает она, что творит. И не может слабыми силами и слабым умом связать причину и следствие, и темным смыслом своим озарить мрак и разгадать предписания и директивы провидения.

Просто в то время еще не пришла в стройность его собственная душа, не смогла она совладать с хаосом, с бездной и удерживать близ себя живое существо. Пропало, сгнуло оно во мгле и круговороте жизни, а Василий Трофимович словно на дно опустился, утонул будто, стал другим человеком и вещественно, и

нравственно, замкнулся и пребывал с тех пор в язвительном состоянии духа. Бежал Василий Трифонович от всяких неумеренных излияний, в себе весь закрылся, как в раковине, и лишь изредка выбирался оттуда, вот как сегодня, например, загулял и одну лишь язвительность в себе растревожил. Опять все ранки и ссадины заныли и терзали невероятным образом Василия Трофимовича.

"Ветка, — сказал он, — ну задержался я, ничего, не страшно, потому что все это — простое человеческое похождение, понимаешь, у меня просто похождение вышло, обыкновенное, по-человечески оно ведь понятно, правда?"

Медленно, даже нехотя поднимался Василий Трофимович по лестнице, не будучи способен прийти к какому-нибудь определенному решению по поводу своего лица, вернее выражения его. Какое ему лицо сделать, веселое, лихое, мол, трын-трава, да ~~трин-трин~~ трали-вали, или вовсе наоборот, в опрокинутое, виноватое выражение лицо свое окунуть. Василий Трофимович остановился на последнем. Сейчас ему легче было быть виноватым, чем радостную гримасу изобразить. Еще не добравшись до своего жилья, он понял, что Ветка не спит. Из-за двери слышался скулеж, повизгивание, словно кто-то откашливался, прочищая горло.

Ветка бросилась ему на шею, лизнула в губы. Она не сердилась, она была счастлива возвращением хозяина и счастье подталкивало ее на все эти прыжки и собачьи гримасы.

"Собака, — сказал растроганный Василий Трофимович, — виноватый я человек, как есть, весь виноваты, но чистый перед тобой, чистая у меня душа, потому что, Ветка, вину всю ты долж-

на на обстоятельства сложить, которые заключаются в самой что ни на есть жизни, ибо она — обыкновенное человеческое похождение. Вот так-то, собака", — с некоторой даже торжественностью заключил Василий Трофимович.

У него была давняя застарелая привычка разговаривать с Веткой: и для собаки монологи хозяина стали привычны и даже служили верным признаком хорошего расположения духа или во всяком случае доброго к Ветке отношения, а что касается Василия Трофимовича, то были они наставительны и питательны его душе, утешали его весьма в горести и темноте жизни и направляли мысль к общим отдаленным вопросам, не столь уж решительно его касавшимся.

"Полная любовь, — говорил Василий Трофимович, накладывая Ветке в эмалированную миску мясо и гречневую кашу, — не должна принадлежать никому на земле. Она, понимаешь, должна быть передаваема..., высшему, чем мы с тобой, обязана посвящаться, а главное, что любовь — это тебе не частное мероприятие, не твоя собственность и распоряжаться ею эгоистично, чтоб всю одному лицу, — сколь бы оно ни было прекрасным или юридически, например, оформленным, — предоставить нельзя, ибо подобная миролюбивая склонность есть общественное достояние и в частном ревнивом владении ей быть не пристало. А если спросить почему, то я тебе на это отвечу весьма просто, потому что редко проявляются добрые влечения и их нужно не разбазаривать на свое жалкое временное естество, а беречь для высших общественных и общечеловеческих доблестей, если ты настоящий гражданин и хочешь быть человеком не с маленькой буквы, а с заглавной".

Но Ветка в ответ лишь чавкала и виляла хвостом.

"Горазда же ты жрать,— с неодобрением сказал Василий Трофимович,— а ведь подумать, так если человек внутренне неправильно, искаженно настроен будет, то ведь и вам, собакам, да и не только собакам, можно сказать, всем животным, и рыбам, и птице любой, и даже растениям, в общем всей живой природе, да и мертвой, неодушевленной — всем плохо придется".

Василий Трофимович и не заметил, как от обиды, что не слушают и внимания никакого не уделяют, взял из кастрюльки кусок мяса, оставленный Ветке на утро, и без всякого чувства, можно сказать, с меланхолией даже некоторой изжевал его и проглотил.

"Вертоград,— грустно сказал Василий Трофимович,— обыкновенное германское слово, сад у готского древнего племени, у северных людей, огород, да и только, Ветка, а у нас с тобой истинный сад любви, первосад, знаешь, когда люди попросту жили, без всякой ерунды...., нн-да..."

Хоть и поздно было, но решил Василий Трофимович вывести Ветку на улицу, чтоб побегала она, воздухом подышала и нужды сови все, большие и малые, справила. Они спускались по лестнице, Ветка впереди, а Василий Трофимович за ней, задумчиво так, без спешки, со ступеньки на ступеньку, все по-прежнему размышляя, прикидывая, все больше к Ветке обращаясь, которая совсем бросила его слушать, даже вид перестала делать, а вся к улице и пространству была устремлена.

Какой-то неясный неотчетливый образ мерещился Василию Трофимовичу, темен был смысл его и не выявлена родословная. Что-то живописное, что-то на холсте, давнее... Необычно яркий свет, но не солнца и не лампы, некий внутренний, неземного словно происхождения, освещал этот образ, будто в райском

саду дело происходило и нет свидетелей... Разве только один соглядатай — бог.

А на улице по-прежнему было сыро, холодно, и снег был желтый слякотный и совсем не было белого, зимнего, синего. И на сердце от этого была одна дрянь и пакость, пакость и дрянь.

"Душа любви проста", — неожиданно заключил Василий Трофимович все свои смутные переживания, наблюдая за Веткой, задиравшей ^ж ногу у каждого предмета, мало-мальски возвышавшегося над плоской поверхностью земли.

Убогое пространство представлялось зрению и уму Василия Трофимовича. Скучный горизонт открывался умственному взору, угадывал он в наступающих рассветных сумерках покинутость и нищету земли, что должна была вот-вот открыться при свете грядущего дня, и мелкий печальный ум его искал и не мог найти законную середину всякой вещи и от этого складывал всю вину на обстоятельства, которых не было и в помине.

7/1 - 4/II-74 г.

* Ветка — одушевленное существо, но мужского пола, а ее женское имя — результат зрительной невнимательности Василия Трофимовича и его равнодушия к мелочной точности материальной жизни.